

18+

Михаил Садовский

Второе начало

Романтическая повесть



Михаил Садовский

Второе начало.

Романтическая повесть

«Издательские решения»

Садовский М. Р.

Второе начало. Романтическая повесть / М. Р. Садовский —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-984822-2

В книге известного писателя Михаила Садовского повествуется о героической судьбе лётчика времён ВОВ, который после тяжелейшего ранения сумел вернуться в строй и воевал до Победы. Когда ранение всё же вынудило его покинуть авиацию, он стал известным композитором и рассказал музыкой всей стране о своих боевых друзьях-однополчанах.

ISBN 978-5-44-984822-2

© Садовский М. Р.
© Издательские решения

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| I | 6 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 23 |

Второе начало Романтическая повесть

Михаил Рафаилович Садовский

Корректор Чеканова С. Б.

Фото на обложке Михаил Садовский

© Михаил Рафаилович Садовский, 1977.2020

© Михаил Садовский, фото на обложке, 2020

ISBN 978-5-4498-4822-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

I

Он уже начал соображать. Первое, что ему удалось отчётливо установить, – место, где находится: он был в госпитале. Такой запах бывает только в госпитале. Память хранила этот запах. Он не мог ошибиться. Пахло свежей простыней с карболкой, йодом, ещё примешивался запах мокрой ржавчины, крови и чего-то уже еле уловимого. Порой все эти запахи вдруг уступали место запаху намокшей пыли, и тогда он чувствовал лёгкое дуновение на лице, и ему казалось, что он слышит шум капель, ударяющихся в жаркую мостовую и разбегающихся серо-коричневыми шариками в разные стороны. Но снова лицо покрывалось испариной, и запахи плотно окутывали его. Ему представлялось, что он, как стеклянная хрупкая игрушка, уложен в ящик и окутан ими, как ватой и стружками, плотно-плотно – так, что не шелохнёшься. Он и не мог шелохнуться. Единственное движение, доступное ему, – движение мысли, работа сознания, вернувшегося к нему вчера или позавчера... позавчера... да, он и понял, что находится в госпитале, хотя не видел ничего, кроме потолка в зелёно-жёлтых разводах.

Это единственное доступное ему движение, казалось, никак не было связано с телом. Собственно, он и не ощущал своего тела: ни боли, ни напряжения, ни его деревянной неподвижности. Ничего, кроме век. Веки его слушались. Он мог поднять их и подняться за ними взглядом к потолку, мог прикрыть, и тогда он видел только угол, где от потолка начиналась стена; мог закрыть, и тогда снова опуститься куда-то глубоко в пещеру своего сознания, в которую не проникал никакой свет, ни единый звук. Только движение мысли безусловно подчинялось ему...

Он задумался: кому «ему»? Кто он такой? Эта мысль? Это сознание? И ещё эти веки? Веки... они оказались вдруг закрылками, и он то поднимал их и взмывал вверх, то опускал и шёл на посадку...

С первой секунды, как он пришёл в себя, он пытался связаться с внешним миром. Несколько раз над ним склонялись разные лица. Низко склонялись и пристально смотрели в его глаза. Он даже видел, как шевелятся губы, но ничего не мог разобрать. Тогда он опускал закрылки. Потом снова взлетал, и перед ним был чистый горизонт: потолок в зелёно-жёлтых разводах, угол, где начинается стена, запахи.

Однажды, когда ему вдруг очень захотелось взглянуть на горизонт, он открыл глаза и ничего не увидел. Сначала это было неприятно. Испуга, что ослеп, не было, только стало неприятно, как в воздухе, когда вдруг потеряешь ориентировку и не знаешь, что впереди и что внизу... так было с ним, дважды было! Он вдруг обнаружил, что есть место, где вполне можно совершить посадку и снова повторить! Ах, чёрт возьми, сколько можно повторить прекрасного и такого, от чего становится стыдно! Наплевать на этот внезапно исчезнувший горизонт – пусть в пещере нет горизонта, но зато сколько места!

Он лежал с закрытыми глазами и бродил по пещере. Теперь можно было не опускать закрылки для того, чтобы в неё спуститься. Так он лежал долго и вдруг понял, что ошибся: в пещере стало сереть. Он сделал отчаянное усилие и увидел, что над ним потолок, не тот, не пещерный свод, а знакомый, серый с разводами, похожими контурами на линии, которыми на картах обводят высоты, всё сокращая и сокращая площадь, взятую ими в охват, пока не появится точка и цифры рядом с ней. Он обрадовался! И ещё больше обрадовался тому, что может радоваться. По привычке вздохнул глубоко, как бывало: так, чтобы почувствовать лому в груди от чрезмерного количества воздуха, но ничего не почувствовал, а провалился куда-то глубоко, ещё глубже, ниже своей пещеры.

Когда он снова увидел горизонт, сначала не узнал его – жёлтый, перерезанный полосами. Потом понял: это тени от лампы или прожектора накрывают кого-то. Хотел повернуться, посмотреть, но в этот момент над ним склонилось уже знакомое лицо. Он видел его уже. Видел.

Тогда сознание снова заработало отчётливо, и он успокоился: он в госпитале, а это, наверное, сестра или нянечка, и машет перед его лицом рукой, как во время прощания, когда поезд уже далеко, а ты всё висишь на подножке и ловишь последний взмах милой руки из стороны в сторону. Он понял, что надо успокоиться, и опустил закрылки.

До того как горизонт посветлел и убрали прожектора, он ещё несколько раз открывал глаза и видел сразу же над собой знакомое лицо. Тогда он снова опускал закрылки и отправлялся в область «было», где его уже ждали друзья, мама и он сам. Он, у которого есть тело и свободные движения. Он сам, Лёнька Тимофеев, то совсем маленький, то уже почти взрослый, но всё тот же Лёнька в «разных модификациях».

Лёнька стоял на самом краю оврага, над кручей оползня, и готовился к сражению. На кромке противоположного склона стоял Юрка Агафонов и перематывал нить. Он бросал клубок в глубину оврага и потом быстро-быстро мотал её на гладкую палочку. Клубок подтягивался и подтягивался вверх по склону, задевая ветки лебеды и пригибая их к плоскости склона, прорываясь бесстрашно сквозь густые заросли крапивы. Когда клубок приползал наконец к Юркиным ногам, он поднимал его, распутывал образовавшийся узелок и, размахнувшись, снова резко запускал в самую глубину.

Редькин суетился возле Лёньки и подзуживал:

– Не мог уж раньше всё приготовить – вот опадёт ветер, и снова придётся откладывать.

Они уже неделю не могли назначить это сражение: то слишком сильный ветер, то дождь, то штиль. Наконец осень смилостивилась, пришлось удрать после второго урока из школы, и вот на тебе. Редькин, конечно, был прав, но Лёньке неприятно было, что он всё время старается их посорить с Юркой.

– До чего же ты вредный, Пашка, – сказал он миролюбиво.

– Вредный! – возразил Пашка. – Что – я не прав, что ли?

– Ну, прав, прав – ещё пять минут. Эй, Юрка, ты скоро?

– Давай! Начинай! Я уже всё!

Лёнька повернулся и стал отходить от склона назад в поле. Пройдя шагов пятьдесят, остановился и оглянулся: Юрка тоже удалялся от оврага.

«Как на дуэли, – подумал Лёнька, – как Ленский и Онегин...».

Они с Пашкой и Валеркой Завалишиным запустили змея.

Лёнька чувствовал, как тянет и дёргается нить, будто на другом конце её подсечённая рыба, которая хочет сорваться. «Отпусти, и рыба будет жить, отпусти, и змей расшибётся», – думал Лёнька.

Вот и Юркин взмыл в воздух: чёрный с жёлтым кругом и расходящимися лучами – пират, настоящий пират.

– Сходитесь! – закричал Венька Борисов.

– Сражение начинается!

«Дуэль», – подумал Лёнька и ускорил шаги, одновременно, потравляя нить. Его ослепительно-белый с красной звездой посредине рвался вверх. Юркин труднее набирал высоту. Они уже стояли на самых краях оврага и в полной тишине старались перевести своих змеев в атаку, а те, как нарочно, рвались только вверх и никак не хотели сходитьсь.

Вдруг Юрка отбежал на несколько шагов назад и ринулся вперёд. Его пират на натянутой нити сначала получил разгон, а потом по инерции на ослабленной стал подниматься вверх по крутой траектории и, когда казалось, что сейчас он наклонится и клюнет, Юрка ловко его поддёрнул, и теперь чёрный царил над оврагом, всё больше и больше надвигаясь на Лёнькину сторону.

Пират всё надвигался и надвигался. Когда он уже навис над краснозвёздным, Лёнька мелкими шажками стал наступать, потягивая нить вниз и потом потравляя её. Его змей полез вверх, как по ступенькам. Но Юрка понял этот хитрый маневр: снизу прицельно пробить углом

его пирата. Не тут-то было. Он смотал нитку, и теперь змеи парили на одном уровне. Лёнька рванулся сначала вперёд, краснозвёздный взмыл, потом резко попятился назад и заставил своего змея клюнуть, пойти ребром. Юрка опоздал: отведи он чуть в сторону пирата, и победа была бы за ним, Лёнька бы промахнулся. Но теперь краснозвёздный протаранил пирата, с хрустом прорвал его обшивку углом и невредимый отлетел в сторону. Он снова парил, готовясь к нападению.

– Ура! Ура! – закричали Венька и Редькин в два голоса.

Пират медленно оседал, терял высоту и опускался уже не как боец, а как тетрадочный лист, брошенный с верхнего этажа: раскачиваясь из стороны в сторону и каждый раз оседая на полметра.

Низко, у самой земли, ветер слегка тянул. Юрка лежал, опираясь затылком на ладони сложенных рук, он старался сосредоточить свой взгляд в одной точке неба и не сдвигать его с места, тогда облака проплывали перед его взглядом, как мелькают перед фарами машины перебегающие улицу пешеходы.

Но сколько он ни старался удержать взгляд, тот спешил за каким-нибудь облаком.

Юрке казалось, что он видит море. «Оно ведь похожее, – вспоминал он, – широкое, и волны как облака». Ему казалось, что он помнит море. Ему тогда было четыре. «В четыре вполне уже можно запомнить. А может, и путаю – целых десять лет прошло».

– Завидую тебе, Юрка, – Лёнька повернулся к товарищу, – самое главное в жизни – делать то, что хочется...

– Ты анархист...

– И вовсе нет, – обиделся Лёнька, – когда человек с охотой делает, всё лучше получается.

– Верно, – поддержал Венька.

– Ну, да, – вставил Редькин, – вот сейчас, если бы мы сидели в школе, что хорошего? Всё равно бы не учились, а так, отсиживали.

– Тебе Филиппыч завтра объяснит, что хорошего сидеть в школе, – усмехнулся Юрка.

– «Мы за вас кровь проливали», – передразнил Пашка, но никто не улыбнулся, хотя получилось очень похоже.

– Так и есть, – отозвался Лёнька, – за нас, – он посмотрел вокруг и поднялся. – Идти пора.

– Куда? – удивился молчавший Валерка.

– Мне надо, – ответил Лёнька. – Пашка, забросишь мой портфельчик, ладно?..

– Подожди, я тоже, – поднялся Агафонов.

Они шли рядом, оба длинные, угловатые. Юрка на полголовы выше.

– Сегодня новый учитель придёт ко мне, – обречённо произнёс Лёнька, – «мужская твёрдая рука».

– Теперь понял, почему ты про свободу вдруг заговорил, – улыбнулся Юрка, – а я вот тоже, может, через силу тут живу. А были бы деньги и документы – только бы меня и видели. К морю бы подался. Не поступил бы, так пошёл бы на любую баржу палубу скрести...

– Это верно, – согласился Лёнька.

– Так ты-то чего! Подумаешь – час отсидеть с дядей, зато потом подавайся в свой клуб, тебе же разрешено.

– Разрешено. Потому и разрешено, что там не берут. Я ж говорю: завидую тебе... Был бы хоть на год старше... ну, ладно.

«Мужская твёрдая рука» оказалась маленькой, сухой, как обёрточная бумага, и очень вежливой. Она пожала Лёнькину руку, и тоненький голосок проскрипел над ней:

– Здравствуйте. Будем знакомы, я ваш учитель, меня зовут Йозеф Фёдорович, а вы Лёня...

Учитель не стал спрашивать, на чём закончилось Лёнькино восхождение к вершинам музыки. Он достал из чёрного портфеля с двумя замками сшитую самодельную тетрадку, открыл первую страницу, попросил сборник Фильда и нашёл нужный номер.

– Прошу вас...

Лёнька сидел напротив нот и думал совсем о другом: что завтра ему нагорит в школе и что сегодняшняя погода похожа на весеннюю, а весной, может быть, его и возьмут в аэроклуб...

– Не могли бы вы мне показать, как это звучит, Йозеф Фёдорович? – попросил Лёнька как можно вежливее, и сразу же поднялся, чтобы «мужская твёрдая рука» не усадила его на место.

– Пожалуйста, – ответила «рука» и пересела на Лёнькино место.

Лёнька подумал, что на немца он не похож, а скорее чех из тех, что остались здесь ещё со времён гражданской. Он стоял рядом со стулом этого незнакомого мужчины.

Маленький худенький человечек – «мужская рука», и рядом он, Лёнька, которому такая рука, конечно, не помеха, и теперь он даже, пожалуй, посвободнее себя почувствует, потому что мама не будет за ним следить так пристально. Ему стало весело, и он подчёркнуто вежливо, ужасно вежливо ответил Ёзику, как он его окрестил про себя:

– Пожалуйста!

Пальцы с наморщенной кожей и узлами на концах каждой фаланги вдруг забегали с необыкновенной лёгкостью, и звук, мягкий и непрерывный, полился бесконечной струёй в комнату. Лёнька почувствовал красоту и живость гибкой мелодии. Он сразу забыл про всё на свете – музыка творила чудо, он обо всём забывал, всё отступало далеко-далеко. Он погружался в чудесный мир, где всё возможно, всё доступно и понятно... но самому сидеть за инструментом и долбить бесконечно упражнения и гаммы – нет! Это было не по нему.

Вот если бы без этой нудной работы можно было учиться, он бы непременно занимался музыкой, а так, пока доберёшься до интересной пьесы... но ведь и это тоже не пьеса – это этюд... Фильд...

Прозвучала последняя нота. Комната, казавшаяся такой огромной, стала уменьшаться, и Лёнька понял, что теперь ему придётся «ковырять» после Ёзика, «Ёжика», – подумал он и улыбнулся, и ему стало снова весело.

Он сел за инструмент, взгляделся в первую строку и с разгону пролетел полстраницы, почувствовал, что дальше обязательно «сядет», потому что уже не успевал за значками...

Мягкая рука легла на его руку, и тоненький голосок сказал:

– Достаточчно! Тэпер будем играт! Это всё было немного рядом с нотами, а тэпер будем играт!

И Лёнька понял, что его не проведёшь. Так обычно он играл маме, а она качала головой. Стоило ей показать ему упражнение, он садился и играл по памяти, заглядывая в ноты больше для вида. Да, с этим Ёжиком не разлетишься. Лёнька опустил голову и стал разгоняться снова...

– Нэт, нэт, со счиотом – раз и два, и раз и два – с начала.

Лёнька забурчал себе под нос «раз и два, и раз и...», и рука легла на его руку.

– Подождите, этот не тот палец, здесь нужен четвёртый, пожалуйста...

С каждым разом всё тяжелее и тяжелее казалась Лёньке эта сухонькая рука, а после часа занятий он понял, что пропал.

Йозеф Фёдорович не раздражался, не кричал, не повышал голоса, не вскакивал со стула и не грозил наказаниями – он только останавливал и «пожалуйста» просил снова, и в этом монотонном движении с неравномерными промежутками пути потерял Лёнька надежду на то, что «твёрдая мужская рука» окажется для него мягкой. Он попросался со своим новым учителем и стоял, недоумённо смотря на закрывшуюся дверь, и будто огромная тяжесть навалилась на него, и вся жизнь разделилась теперь на до сегодняшнего урока и после.

Да. А потом их вызвали к директору...

И совсем «не попало».

Странный он был, Коренастый, с чёрным портфелем в два замка, красное лицо, казацкие усы.

Только в глазах осталась на всю жизнь стремительность конной атаки, когда: ты или тебя!

И не только не попало, а наоборот – организовал оркестр. И Лёнькину маму привлёк. Чудной.

Речь не произносил, но всё же оглянулся на карту за спиной, осмотрел флажки на ней, стрелки, стрелы...

– Не зря ведь кровь проливали! Змеепускатели, надо оркестр нам организовать – я вот инструментов достал разных... и весело! Марш хороший! На праздник, а может, и споёт кто! Агафонов, у тебя же огромный голос. Не зря кровь проливали.

Тогда Лёнька отметил про себя: «Так и есть!» – все знали это присловие директора. Сначала иронизировали, а потом перестали, когда увидели два боевых ордена на его груди.

Теперь эти слова вдруг остановили единственное доступное ему движение. Он не мог сначала понять, в чём дело, не улавливал смысла этой неожиданной остановки. Постепенно, будто на ощупь, он добирался, как в темноте на косогоре, до обреза, до конца склона. Теперь эти слова относились к нему самому, и он, если удастся когда-нибудь раздвинуть челюсти и произнести вслух хоть несколько слов, тоже скажет кому-то: «Не зря кровь проливали!». Скажет кому-то мирному и по совсем мирному поводу – да разве так бывает?! Он вдруг обнаружил, что может ещё существовать что-то кроме того, что уже у него есть. Он обнаружил, что есть какой-то шанс на завтра. Обнаружил, что он чего-то хочет. С тех пор как он уже пришёл в себя, он ничего не хотел. Ничего, и даже не удивлялся этому. У него не было никаких человеческих потребностей, никаких! И вдруг он понял, что хочет, хочет главного: жить! Хочет, чтобы было завтра!

Волнение пронзило его. Сразило. Он провалился. Потом неожиданно открыл глаза. Увидел Галю и вновь провалился. В бредовом озарении опять вернулся к ней и, удивляясь тому, как свободно говорит, всё повторял ей: а помнишь, помнишь, как мы убегали купаться... через поле дурманящего клевера, через заросшую камышом ложбинку к песчаному мысочку.

Надо же было, чтобы девочка, которая так поразила его, была дочерью Ёжика! Юрка немедленно потребовал, чтобы Лёнька их познакомил. Да по-другому и быть не могло – они же друзья. Потом он ворчал беззлобно: «Познакомился на свою голову, теперь записочки ношу, свидания назначаю, а сам...». А концы были не ближние – Ёжик жил на другом краю города. Юрка вскакивал на Лёнькин велосипед и на ходу кричал: «Я потом покатаюсь, тебе-то всё равно он не нужен сегодня!» – и плутовски подмигивал.

– А папа снова на тебя жаловался. Не мне, а просто вслух. Говорит, что не станет с тобой больше заниматься, потому что твоя мама бросает деньги на ветер, а ты лодырь, и если бы у тебя не было способностей, то не обидно, а так он переживает – не хочет брать грех на душу. Он говорит, что из тебя должен получиться музыкант.

Лёнька хмурился и старался перевести разговор, но у дочки был папин характер. Он вскипал и начинал её дразнить:

– Уроков я не сделал – раз, музыкой не занимался – два, удрал из дома – три, тебя вытащил из дома – четыре, почему же ты меня не прогонишь?

Она вспыхивала, потом радостно и как-то очень мило смеялась, хватала Лёньку за руку.

Сначала она просто нравилась Лёньке, и ему хотелось, чтобы она нравилась всем. Он выспрашивал Юрку, сердился на его шутки, потом перестал делиться с ним. Больше не с кем о ней говорить, потому что это самое дорогое и сокровенное – Галя. Тогда он уже, кажется, начал летать, кажется, начал, значит, ему был шестнадцатый. Вроде того.

В клуб его приняли с трудом: он был лицом совершенный мальчишка, и не спасали ни длинный рост, ни огромные ботинки: наоборот, получался увеличенного размера Буратино,

и страшновато становилось доверять такому Буратино его собственную жизнь, он мог ею распорядиться совсем неразумно!

Но приняли! И даже это событие, которого Лёнька ждал с таким нетерпением, можно сказать всю жизнь, не отодвинуло, не заслонило её, Галю. Лёнька никак не называл для себя это чувство, но твёрдо знал, что оно для него дороже всего. Мама, небо и Галя, и не надо их сравнивать и противопоставлять.

Он затуманенным сознанием понял, что прилагает какие-то страшные усилия, почувствовал неимоверное напряжение, и наконец его веки поднялись. Глаза в глаза на него смотрела Галя. Он вскрикнул. Но на его каменно застывшем лице только глаза расширились, наполненные удивлением и болью.

Его взгляд обегал лицо – нет, не её, – похожее, другое, чем-то похожее, но не её.

«У Гали вот здесь, у самого виска, метка – маленькая ссадина от пореза осокой. А когда она всматривалась, левый глаз прищуривала немного сильнее правого...» Нет, это была не Галя. Девушка напряжённо смотрела ему в глаза и всё стояла склонённая над кроватью. Потом резко разогнулась и о чём-то заговорила. Было видно движение губ, только непонятно, что она говорит и кому.

Лёнька уставился в потолок и подумал, что уже много дней, как он очнулся, и неизвестно, сколько их было там, в полной темноте, в почти полном небытии, и сколько ещё их будет потом. Он почему-то не сомневался в этом «потом». В этом завтра. Но что же она так настойчиво кому-то говорила?..

Все ушли из палаты. Он смотрел на трещину на потолке и вдруг придумал, что дни можно считать по изломам этой трещины. Его глаз запоминал конфигурации линий с первого взгляда, и ему ничего не стоило потом по памяти воспроизвести их. «Пусть каждый излом будет днём, и я двигаюсь по этой линии, она идёт в потом, в завтра. Сегодня я вот здесь, у этого жёлтого пятнышка. Раз, два, три, четыре, пять. Пять изломов, пять дней я уже взял у этого потом...»

Галя казалась старше своих лет. Пухленькая, с золотым пушком на лице и на руках, на две головы ниже Лёньки и спокойная, вернее уравновешенная. Лёнька рядом с ней выглядел совсем мальчишкой. Долговязым не оформившимся верзилой с чёрной растрёпанной шевелюрой и немного шальными глазами.

После первого полёта она поцеловала его и сказала:

– Я очень боюсь, но, наверное, если бы ты не полетел, было бы ещё страшнее!

Тогда Лёнька не придавал значения этим словам, он без умолку рассказывал всё с мельчайшими подробностями, всё, даже то, что не узнал землю, над которой уже столько раз проносился. Не узнал и растерялся.

– Понимаешь, это же совсем другое ощущение, это только там, в воздухе, можно почувствовать. Ты совершенно, ну, совершенно свободен! Все степени свободы у тебя, понимаешь!

– Лёнька, ты очень хороший человек!

– Конечно, – согласился Лёнька охотно.

Они рассмеялись.

«Почему нельзя взять счастья впрок, про запас? Счастья, удачи, верности... и почему я о ней столько вспоминаю? Потому что эта девушка так похожа? Наверное. А может быть, первая любовь, как говорят, на всю жизнь. И будет ли вторая... – нет, не потому, что я вот такой пласт, не у всех же бывает вторая.

Юрка Агафонов удрал, когда они закончили девятый класс.

Им выдали характеристики для работы в колхозе, и он удрал.

Знали об этом побеге заранее только двое – Лёнька и Галя.

Они помогли ему с деньгами, как могли, снарядили в дорогу и проводили до шоссе. На поезд он сел только в пятидесяти километрах от города.

Тётка не очень-то и убивалась.

– Этот не пропадёт, – сказала она Лёнке при встрече. – Но мог бы как все люди, что ему – плохо, что ли, у меня было?

Лёнка не стал с ней спорить, он даже поддакнул нарочно, что, мол, действительно, и здесь мог бы найти себе занятие.

Потом несколько месяцев не приходило никаких вестей, и лишь осенью вдруг на Лёнкин адрес – заказное. Юрка стоял в форменке, счастливый, потолстевший. Он писал, что приняли его только за то, «что столько тысяч вёрст отмахал – не отсылать же обратно». Передавал всем привет и просил тётке адреса не давать, а письмо показать и прочесть.

Потом они писали вместе с Галей ответ, и пошли письма, письма. Галя всё ругала Агафона за ошибки, а он в ответ писал им о новых друзьях и говорил, что всё теперь у него есть, только не хватает Лёнки...

Как это давно было... Лёнка потом часто вспоминал: «...не хватает тебя, Лёнка», а ему самому часто не хватало потом и Юрки, и ребят, и Гали – было ли всё это, скольких друзей по эскадрилье потом не хватало, и сколько раз не хватало слёз и злости...

Он уже значительно продвинулся по своей «линии жизни». Каждое пробуждение или возвращение из забытья переносило его через сегодняшний, равнодушно-монотонный день в прошлое, и он заново переживал все события, в которых занимал главное место, будто незнакомые. Казалось, что прошлое вовсе не прошлое, а представление, которое разыгрывают по готовому сценарию. Лёнка не осуждал и не старался исправить в памяти свои поступки, хотя порой ему бывало тягостно стыдно, он не пытался и переосмысливать прошедшее.

Оказывается, мама так много места занимала в его жизни. Его мучил стыд, что раньше он не замечал этого. Он понимал, что ей трудно, что она одна, и старался всячески, как ему казалось, ей помочь, но в главном, в её заботе о его будущем, выступал откровенным эгоистом.

Мама мечтала сделать его музыкантом, стремилась к этому не без основания, а Лёнку будто забавляло, что он каждый год находил какое-нибудь увлечение, отвлекавшее его от музыки.

Да, он любил музыку, но быть музыкантом?!

Вот над головой небо, небо, в котором столько прекрасной музыки, голубой и розовой, грозовой и солнечной. А на земле: велосипед, лыжи, друзья, книги, Галя. А музыка – в оркестре, в школе, для друзей, но его не хватало на музыку «для мамы».

Как он любил, когда долгими осенними вечерами мама занималась со своими вокалистами, стараясь передать им то, чего они не успели постичь днём в училище.

Лёнка влетал домой откуда-нибудь – с тренировки или из аэроклуба – и попадал в совершенно другой мир. Он застывал от неожиданно резкой перемены, садился у окна и мог слушать, слушать, забыв и о друзьях, и о несделанных уроках, и о не написанном для клуба лозунге...

Как это прекрасно. Дождь за окном, изредка и робко ударявший в железный наличник, ненастойчиво просящий пустить его в дом. Рояль с надменным чёрным лбом без единой морщины, несмотря на преклонные годы. Настольная лампа с удивительным стеклом – изнутри молочным, а снаружи ласково-салатовым. Мама. Руки, чуть выглядывающие из-под платка. Взгляд, перебегающий с нотного листа на лицо ученика... как это всё удивительно было, и ещё удивительнее, что это действительно было!

Всё это вместе – мама. Всё вокруг мамы. И её руки, особенно близкие во время болезни, маленькие, мягкие и неожиданно сильные, решительные; то ставят горчичники, то трогают лоб, и так хорошо прижать мамину руку к щеке плечом и замереть.

Секретов друг от друга они не держали, но догадывались, о чём не стоит спрашивать.

Когда Юрка удрал, конечно, мама знала, что Лёнке-то уж наверняка известно если не всё, то больше других, но она ни разу не пыталась заставить его лгать ей во имя ребячьей дружбы.

Мама, как тонко она всё понимала и как терпима была.

Лёнька никогда не спрашивал её об отце. В тощем альбоме лежало несколько десятков фотографий, там был и его портрет, Лёнька знал, что это его портрет, а больше... ни вещей, ни разговоров, ни воспоминаний... их было двое: он и мама. Мама и он.

Теперь он остался один. Мама одна. С годами нежность к ней выросла, он старался исправить то, что можно было, да всего не исправишь... «Как бы ей теперь сообщить, чтобы не волновалась», – эта единственная нитка связывала Лёнькины мысли с настоящим.

Он даже не отдавал себе отчёта, намеренно ли не думает о настоящем – он пребывал в прошлом, а здесь было только волнение о маме и потолок, по которому двигаешься неуверенно.

Когда с Валеркой Завалишиным случилась беда, почему Лёнька первый пытался его спасти? Ведь эта история и на него могла бросить тень. Не из-за себя ли он тогда суетился? Да нет же! Лёньке даже противно стало.

Деньги так тогда и не нашли. Лёнька по кругу собрал все восемьдесят рублей. Родители Валерки, наверное, ничего не знали – Пётр Филиппович не любил жаловаться. Они только недоумевали, что Валерка отказался от велосипеда, о котором мечтал. Отказался наотрез. Боялся, что велосипед и восемьдесят рублей свяжутся...

– Значит, ты чувствуешь себя виноватым? – удивился Лёнька.

– Люди бывают разные, – уклончиво ответил Валерка и потупился.

Лёнька смотрел на узенькие щёлки его глаз, на блестящий кончик носа и сквозь зубы процедил:

– Люди хотят правды, а там, где её нет...

– Тебе хорошо говорить, ты умеешь быть выше этого.

– Выше чего? – перебил Лёнька.

– Если и ты мне не веришь, то какие же мы друзья? – вспыхнул Валерка.

– Эх ты, Завалиша, слова обожаешь, – Лёнька почувствовал вдруг, что Завалишин не говорит всего. Ему стало стыдно, даже горько и обидно за ту горячность, с какой он защищал товарища, и преодолеть этого чувства досады он уже никогда не смог.

– Нельзя так жить, доверяя только ощущениям, ты можешь очень ошибиться, – возражала мама.

– А для чего же мне тогда чувства? – возмущался Лёнька. – Если они не помогают принимать жизненных решений, для чего?

– Чтобы жить? – смеялась мама. – Они тебе ещё пригодятся и для того, чтобы принимать «жизненные решения», только нельзя их принимать одним сердцем.

– Мамоchка, и это ты мне говоришь! Ты же всех учишь: больше чувства, больше чувства...

– Без чувства какая же музыка – одни ноты, звуки, а ведь и в простом крике столько чувства...

С Юркой они этот вопрос решили единодушно.

– Тут и спора нет, – сказал Юрка, – не станешь же ты книгу читать, если она тебе не нравится. Ну, для урока – другое дело, но это всё равно уже насилие, угнетение чувства.

Настолько не похожа эта жизнь на всё, что потом произошло и с ним, и с друзьями, и со всеми, со страной. Столько появилось новых слов и понятий, столько незыблемых истин оказались обманом, и столько крови за это отдано. «Какой рывок мы сделали за эти годы, как повзрослели...»

Он медленно двигался по своей «линии жизни», и как определил – двигался на восток: от угла к своей кровати. Это открытие возвращало его к сегодняшнему дню. Вот над головой «линия жизни», похожая на путь подразделения на карте, вот девушка, похожая на Галю. Вот краснолицый и седой, появляется раз в несколько дней у его кровати, его переворачивают и что-то с ним делают. Он воспринимает мир, цепляется за него, слабо, казалось, одним взгля-

дом, но на самом деле поразительно цепко, о чём часто и спорили тут же у его постели выдававшие виды медики.

Он не думал о своём состоянии, о том, что будет дальше, о смерти – эти мысли, такие естественные в его положении, насовсем, казалось, исключены.

Однажды ночью он проснулся чем-то потрясённый и, прежде чем понял что-нибудь, почувствовал, что задыхается. Ему не хватало воздуха, а рот был широко раскрыт. И он вдруг понял, что сам свободно может его закрыть и раскрыть. Он почувствовал, что втягивает в себя воздух, и снова его рот раскрыт, и снова он задыхается!

Тогда Лёнька догадался, что он кричит! Орёт так, что ему не хватает воздуха для дыхания! Вспыхнул свет! Кто-то влетел в комнату в белом, и тут Лёнька не почувствовал, а увидел сам, что руки его двигаются, они натягивают одеяло! Он замёрз, замёрз ночью, и руки его, его руки сами, как обычно во сне, стали натягивать повыше одеяло, и он орал, орал спросонья, а может, и во сне! Он кричал одно слово страшно и с невероятной силой: «РУКИ!». Он не слышал сам своего крика, но снова твердил это слово уже тихо, шёпотом с присвистом: «РУКИ, руки, руки...» – повторял, будто боялся, что губы снова застынут в неподвижности, и он вдруг опять разучится произносить слова. Он твердил и твердил одно это слово, как будто больше слов не было на свете, или не было другого, более нужного или дорогого. Он твердил это слово, лёжа с закрытыми глазами, и не видел и не слышал, как вокруг суетятся люди, спорят, делают уколы, что-то приносят и уносят. Он так и не раскрыл глаз и снова забылся с этим заклинанием на губах: «Руки, руки, руки...».

«Руки у тебя золотые, парень, голова, слава богу, а ещё раз такое замечу – и вылетишь ты из клуба и не вернёшься, последний твой ли, первый ли вылет будет, понял?!» Это Лёнька слышал один раз в жизни и тысячи раз вспоминал, когда хотелось потом сделать что-нибудь так же наспех, поскорей, абы как. Сразу же перед глазами возникал инструктор – коренастый, с серым лицом и маленькими глазами. Знал он удивительно много и злился, когда его доводили, а сделать это было чрезвычайно трудно. Он не любил равных отношений с молодыми, ставил на место пытавшихся подвинуться к нему хоть чуть ближе и в то же время отдавал всего себя этой работе, авиации, небу. Его «петушки» летали всегда лучше всех в клубе, и многие даже обижались, говорили, что Акимыч подбирает себе ребят посмекалистее, посильнее. С ним можно было или стать асом, или сделать последний вылет – из клуба.

После короткого разговора с инструктором Лёнька ни разу больше не погрешил даже в душе против любой работы, связанной с полётами, будь то книжная наука, или мягкие складки парашюта, из-за которых его взгрел Акимыч, или расчистка полосы в непогоду...

После занятий в клубе, затемно, он хватал свой комбинезон и летел к реке – самая короткая дорога. Галя ждала его на другом берегу, и домой он приходил, падая от усталости, часов в одиннадцать.

Мама заглядывала в его комнату и говорила тихо, не сокрушаясь и не укоряя: «Поужинай!».

Лёнька вытягивался на кровати, доставал пальцами до холодных прутьев, раскидывал руки, потом натягивал одеяло до подбородка и сразу засыпал. Мгновенно.

Утром он видел маму над собой ровно в восемь, вскакивал и, выдав три колена вприядку, обязательно этим смешил её.

– Доброе утро!

Как славно было в эти минуты! День ещё не придвинулся вплотную, а вчерашний уже отошёл и со своими радостями, и с огорчениями. Если с радостями, то на расстоянии они ещё приятнее, если с огорчениями, то они уже далеко!

Лёнька открыл глаза. Она была здесь. Нет, не она, та, другая, похожая. Как её зовут?

Десятки вопросов вдруг надвинулись, готовые сорваться с языка. С языка? Он бы хотел спросить и об этом... «Линия жизни» сделала ещё один изгиб. «Сколько же в жизни зигза-

гов. Ни кусочка прямой...» Вопросы горячие, рвущиеся, как самолёты перед боевым вылетом, ждали своей минуты...

«Всё в жизни кончается». Почему ему вспомнились эти слова Ёжика? Он их сказал на прощание Лёньке. Они потом виделись раза два, только не разговаривали – раскланялись. А Галя как-то услышала от отца, когда зашёл разговор о Лёньке: «Страсть – это сила, которую одолеть нельзя». Любил он всё формулировать и по полочкам раскладывать. И рука у него железная была, ничего не скажешь. «Всё в жизни кончается».

«Что кончается? Линия жизни? Вон она вся в поворотах и углах, и не кончилась, и прямой не станет. Она всё тянет меня на восток, нет! Чёрта с два – на запад! Рано ещё на восток!»

Он заставил все вопросы исчезнуть. Сжал зубы, это ему всегда помогало, получилось. «Кто ещё здесь в комнате?» – попробовал повернуть голову. Иглы вонзились в плечи. Он обрадовался, хотя в голове помутилось от боли. Обрадовался, потому что чувствовал. Пусть даже боль. Почувствовал врага. С врагом можно бороться, с невидимкой – бесполезно.

Похожая на Галю внимательно смотрела в его глаза и что-то говорила. Он силился понять и не мог. Она отошла. Потом появилась перед ним с фанеркой и листом бумаги, на котором написала толстым карандашом: «Вам нельзя волноваться и делать движений!». Буквы валились из стороны в сторону, но всё равно получались округлыми, девчачьими, милыми и далёкими.

Лёнька посмотрел на неё и прикрыл глаза в знак согласия.

И тут вопросы одолели его, он уже не в силах был сопротивляться – это первое общение окатило его радостью.

«Руки? Только потихоньку. Если нет – буду ещё ждать. Мне нельзя волноваться... Чуть-чуть в стороны... пошли... теперь на себя и прибавить газа... какого, к чёрту, газа! На себя руки, на себя... не идут. Спокойно! На себя – и пошёл в высоту! В высоту? К чёрту! На себя!»

Он зацепился большими пальцами за одеяло и потом подтянул, опираясь на них, остальные, скрюченные по-паучьи. Шаг. Потом ещё раз так же. Руки подались и согнулись в локтях.

Она с испугом смотрела на него, не в силах ни двинуться, ни вымолвить хотя бы единый звук. Ей стало страшно. Страшно теперь, когда он начал оживать. Ей не было страшно, ни когда она увидела его беспомощное тело, ни когда он задыхался и умирал и снова начинал жить, ни когда врачи выносили свой приговор и подтверждали его многократно, – нет, всё это было привычно, она навидалась такого и пострашней за эти годы, но теперь ей стало страшно. Она выскочила из палаты...

А руки доползли до живота, застыли на мгновение и поднялись к лицу. Сами! По воздуху! Поднялись, и он мог их рассмотреть! «Сколько времени он их не видел? Или не видел никогда? Разве кто-нибудь рассматривает свои руки?»

Она снова выплыла перед ним. «Странно, не скажешь, высокая или низенькая». Он протянул руку. Она не поняла его движения, решила, что ему трудно держать руку на весу и нет сил её опустить, – поддержала её. Он на мгновение оперся на её руку. «Сколько времени я ни с кем не здоровался за руку?!»

Потом он снова стал шарить рукой по воздуху, еле заметно воспроизводя движение письма. Она догадалась. Вставила в его пальцы карандаш, сжала их в кулак и подставила доску. Карандаш был толстый, удобный. Грифель неловко ткнулся в бумагу, и сразу поползла чёрная жирная гусеница, лоснясь на свету... Она поддержала второй рукой его локоть, чтобы удобнее было писать, потому что доску не опустишь, ему не станет видно бумагу...

Буквы ползли медленно и сложились в одно слово: «ЧИСЛО».

Она повернула бумагу к себе и написала: «15 августа». Он закрыл глаза и начал считать – выходило, если отнять дни «линии жизни», больше месяца. Он старался себя успокоить и снова не позволил себе вспоминать этот последний день.

Она стояла над ним, напряжённо наблюдая, может быть, снова потерял сознание. Но его ресницы дрогнули, и открылись глаза.

Лёнька напряжённо смотрел на девушку, которая всякий раз находилась рядом, когда он открывал глаза.

Однажды ему показалось, что Галя самая красивая на свете, решил по-мальчишески горячо и на всю жизнь. Он потом и не утверждал этого и не устоял бы в честном споре с самим собой, но так вот решил и только всех сравнивал с Галей. По привычке. Теперь это и вовсе ни к чему...

Лёнька часто думал о том, что он всегда жил среди хороших товарищей, на которых можно положиться.

Слух о необычном раненом лётчике расползлся по госпиталю, а потом и по окрестностям. Рассказы о необыкновенном парне, который с того света вернулся, уносили с собой нянечки и сёстры. Никто только не знал ни его имени, ни фамилии, и как-то так получилось, что называли его лётчик, да и всё.

За это время, что Лёнька провалялся без единого движения, госпиталь из прифронтового успел превратиться в тыловой. Стало меньше сутолоки, и не так часто менялись раненые. Опустело и небольшое местечко, в котором раньше местных жителей, вернувшихся на освобождённую землю, трудно было заметить среди танкистов и пехоты, лётчиков и сапёров, медиков и интендантов. Всё шумело, двигалось, казалось, беспорядочно и непрерывно, а на самом деле подчинённое одной цели, всё это огромное скопление людей, ненадолго задержавшихся именно здесь, в этом местечке, подчинялось одному стремлению и одной цели: на запад.

Теперь здесь был тыл – не такой уж глубокий, но без налётов и обстрелов. Лёнька задержался необычно долго из-за нетранспортабельности в перевалочном госпитале, и не удивительно, что новость о лётчике облетела и взбудоражила выдавших виды и насмотревшихся крови людей.

Нашли его неподалёку, как утверждали, на земле, во время сильнейшего налёта немцев. Притащили санитары, получившие от бойцов. И ни одной бумажки, ни одного документа не было при нём.

В горячке наступления некогда заниматься выяснением личности одного человека, а потом все части ушли, и теперь не у кого спросить, чтобы посмотрели, опознали... Знали только, что он лётчик, да и то не точно, по брюкам и синему ястребку на руке возле большого пальца.

Теперь врачи особенно зачастили в его палату, но до поры его не спрашивали ни о чём, во-первых, чтобы не волновать, а во-вторых, боялись, что, может быть, и память его стала так же неподвижна.

Но один вопрос всё чаще волновал его: отступит ли неподвижность? Он хотел знать правду, пусть самую страшную.

После очередной серии уколов началась редкая перевязка. Лёнька знал, что это перевязка, потому что его переворачивали на живот и сдвигали голову на край подушки.

Остро пахло спиртом. Больше он ничего не знал и не слышал разговоров склонившихся над ним врачей. Когда перевязка закончилась, Лёнька поманил глазами ту, которую всё называл «похожая на Галю».

Появились карандаш и листки.

– Как вас зовут? – написал Лёнька и внутренне усмехнулся – ведь он всё равно не мог позвать её. И пока она брала у него листок, карандаш и непонятно медленно, несколько раз взглянув на него, писала что-то, он вдруг до слёз остро почувствовал, насколько выбит из жизни, и неизвестно, вернётся ли в неё, а если и вернётся, то стоит ли – калеккой, обузой – кому...

«Лика. А вас?»

Он вдруг подумал, что они, наверное, о нём ничего не знают. «Да, да. Я выскочил тогда без документов, безо всего, когда увидел эту девчонку. Но ведь рядом были ребята?! Были!

Неужели были? Нет, нет. Просто меня нашли другие, но неужели никто не спросил про меня из своих, не искали?..» Видно, его глаза выдали страшное волнение!

Она склонилась над ним и внимательно смотрела глаза в глаза, и эти близкие зеленоватые тоже были в страшном волнении. Лёнька сжал зубы, почувствовал, что ему сразу легче: «Ах ты, старая привычка! Помогает!». Так его учил Акимыч: «Сожми зубы, когда трудно, чтобы вторая беда к первой не приползла, а с одной-то справишься, если мужчина!».

«Лётчик... Капитан... Леонид Алексеевич Тимофеев, командир»... И пока Лёнька выводил и собирал в слова рассыпавшиеся буквы, новая и ужасно обидная мысль ворвалась к нему и наполнила тревогой: «Значит, маме сообщили, что я пропал без вести, ведь если здесь не знают, кто я, значит там, в эскадрилье, не знают, где я! Ах ты, чёртова лопасть! Это уж вообще... пантомима! Мало того, что на земле прихлопнуло, как личинку! Ну и ну!». Он крепко выругался, благо никто ничего не мог ни увидеть, ни услышать, но легче не стало. «Ли́ка, Ли́ка – странное имя, – мысли Лёньки рвались, не связывались снова, – и сама не похожа, и имя не похоже. Ли́ка!». Вроде попробовал на зубок, хотелось бы на слух: Ли́ка!

«Что со мной?» – добавил он.

Она взяла листок в руки, и слёзы брызнули из глаз неудержимо, затрясся подбородок. Ли́ка отступила на несколько шагов, быстро уткнулась покрасневшим лицом в плечо и снова вернулась на точку, с которой он мог её видеть. «Ничего, ничего, – шептала она и мотала головой, – это так, слава богу, слава богу!».

«Значит, помнит всё, как же ему страшно, наверное». Лёнька понял, отчего она заплакала, он смотрел на неё требовательно. Теперь сестра писала и старалась унять рассыпающиеся округлые буквы, а он неотступно следил за её рукой и за прядкой покачивающихся волос, не заслонённых бумагой.

«Вам нельзя волноваться, товарищ капитан, а я санитарка. Контузия и ранение в спину». Она хотела уйти, но Лёнька остановил её. Ли́ка протянула ему карандаш. Бумагу Лёнька не взял, только два раза опустил ресницы, что для неё должно было значить: спасибо. Он поднёс карандаш к глазам и прочитал вдавленное на рыжем теле чёрными латинскими буквами: «Farber» и год: 1940. «Хороший карандаш, сволочи, ничего, я ещё буду вычёркивать вас из жизни этим карандашом! Посмотрите! – он сжал зубы. – Это на память, на память! Поймёт?.. Поняла!». Ли́ка ладонью словно отталкивалась от этого карандаша и выскочила за дверь.

Лёнька начинал новую жизнь: у него появилась снова связь с окружающими, с миром. Он, правда, ещё не слышал и не мог выговаривать слова, но уже довольно хорошо действовал руками и понимал по губам, что ему говорят. Над головой его висел звонок, похожий на школьный, которым так давно, небывало давно, тётя Паша собирала их на уроки. От звонка тянулась верёвочка с петелькой на конце, чтобы удобнее было дёргать. На звон появлялась Ли́ка. «Когда же она спит?» – думал Лёнька.

И ещё одно начало связывать Лёньку с миром: его ожившие руки, плечи и лицо стали чувствовать боль. Как он этому радовался! Сжимал зубы и радовался. Пока лежал одеревеневшим, ему не хотелось никого видеть, ему вообще ничего не надо было. Теперь он радовался каждому, кто заглядывал в его палату, а пытались заглянуть многие. Лёнька чувствовал, что ему не хватает общения, целый день он писал письмо матери. В нём оказалось совсем немного строчек, но стоили они огромного труда. Старался, чтобы они не расползались безобразно, и чтобы почерк хоть немного походил на его прежний: «Мамочка, мне немного задело руку, и вот не мог никак написать тебе, а теперь всё налаживается. Я чувствую себя хорошо и обидно отдыхаю, когда другие бьют фашиста. Скоро моя вынужденная посадка закончится...».

Неотступно его преследовала эта мысль. Ему трудно теперь стало управлять своим бодрствовавшим возбуждённым мозгом. Хотелось говорить, много узнать. Он уже видел однажды, что у него есть ноги! Два бугорка под одеялом как раз там, где всегда торчат большие пальцы недалеко от прутьев. Это был праздник, радостное открытие. Он вспоминал, как однажды

вычитал у Вересаева, что надо каждый день одерживать какие-то, пусть совсем маленькие, пустячные победы, это придаёт силы жизни, создаёт настроение. И Лёнька теперь старался следовать вычитанной мудрости. Десять сгибаний и разгибаний рук. Потом перевод рук из горизонтального положения в вертикальное. Вращение ладоней. Сжимание кулаков. Бег пальцами. Лёнька вспомнил, как смеялся, первый раз услышав это странное: бег пальцами. А тренер, заметив, поучал: «Хочешь играть в баскетбол – должен уметь бегать пальцами не меньше, чем ногами». Теперь Лёнька бегал пальцами. Он пристально следил за дверью, когда стала немного двигаться шея, ему видна была верхняя кромка одной половинки двери.

От каждого упражнения начинало бешено колотиться сердце, но Лёнька через несколько минут снова двигал ожившими руками, пальцами, старался поднять голову и непрерывно мучительно думал, что вот по-настоящему наступил момент «кто кого», что здесь его линия фронта, и что он непременно сделает так, чтобы снова увидеть далеко внизу сероватые нитки дорог, квадраты полей, зигзаги окопов, и что непременно опять цель будет открываться ему, потому что ведь из этих маленьких целей состоит одна большая – ПОБЕДА, а без неё невозможно жить, значит, надо её добыть, добыть любой ценой.

«Теперь я подписываю векселя, а вот когда встану, оплачу их. Оплачу щедро, с процентами. Только бы были силы сжать зубы и вползти в кабину. Я им за всё отплачу».

Сначала Лёнька старался вовсе не звонить. Но чем дальше, тем заманчивее становилось самому сделать чудо: дёрнуть за шнурок и увидеть Лику. Это было похоже на радостную детскую игру. Единственное, что огорчало в этом: глаза Лики. Они состояли из одной тревоги – что-то случилось, плохо. Потом тревога уступала место вниманию, желанию помочь, ласке, но не исчезала совсем.

Лёнька удивлялся, как стал анализировать всё, что ему доводилось получать теперь от сузившегося мира. Если у Лики было время, они затевали переписку. Ему неловко было заставлять её стоять, а если она садилась, то Лёнька не видел её, а Лика отвечала ему, старательно выговаривая губами: «Это пустяки!». Ему хотелось сказать ей много хорошего, за многое извиниться, рассказать что-то весёлое... «Сколько ей лет? Сколько мне? Нет, она вроде моложе. И столько крови, столько грязи. Она, правда, не хрупкая девочка. Всё равно. Подарить бы ей что-нибудь на память...»

Так Лёнька добрался до ещё одного открытия, что у него ничего нет: ни документов, ни записной книжки, ни даже фотографии мамы – ничего! «Голодранец», – усмехнулся Лёнька и снова вспомнил клуб и Акимыча. Когда после парашютного прыжка Лёшка Ознобин пожаловался ему, что потерял в воздухе и перочинный ножик, и самопишущее перо, и ещё что-то, Акимыч посмотрел на него искоса и процедил: «Ты – голодранец».

«Жаль, – думал Лёнька, – фотографию жаль, записную книжку и зажигалку, Юркин подарок».

Чем ближе «линия жизни» подвигалась к противоположной стене, тем чаще смотрели Лёньку врачи. Дважды его возили куда-то, но он даже не мог сообразить, что с ним делали. Потом несколько дней никого, кроме Лики, не появлялось в его палате. Лёнька интуитивно чувствовал, что сейчас решается что-то важное в его жизни. Но Лика или не знала, или не хотела ему говорить правду. Она отшучивалась. А Лёнька мучительно искал зацепки для своей мысли, ему бы только намёк, остальное он бы сам сообразил. Что он безнадежный, и его отправят в тыл или куда-то в другой госпиталь на операцию, или он свалится на руки матери в таком виде!

«Ну, нет, я должен сам всё узнать!» Он стал требовать, чтобы Лика вызвала к нему врача, главврача, кого-нибудь, кто бы сказал ему официальную правду. Лика обещала, но никто не появлялся. Лёнька чувствовал, что не может больше ждать, даже со стиснутыми зубами он не может больше ждать. Досада собралась, скопилась где-то возле кадыка. От неё перехватывало горло. Пока эта досада прорывалась небольшими нахлёстами, и Лёньке удавалось ещё

с ней справляться, но чем больше сил прибывало в его организме, чем больше страсти жизни вливалось в сердце, тем труднее ему становилось примириться с самим собой, с собой, беспомощно лежащим здесь, на земле, у всех на виду.

Он, казалось, выправлялся, вырывался у смерти из лап для того, чтобы всё сильнее желать смерти. «Лучше умереть, чем так...» Это банальное, столько раз слышанное им ранее, чему он усмехался, теперь стало чуть ли не программой. «Кому я нужен такой? Зачем мне жить? Лучше бы и не нашли меня!» Разве он один задавал себе эти вопросы... И можно ли было винить его тогда в малодушии! Он думал об одном... Но организм его совсем молодой, если можно так предположить, думал самостоятельно. Руки уже стали сильными, быстро бегали пальцы. Шея поворачивала голову, опирающуюся на подушку. Всё чаще его обдавало радостью утреннего пробуждения. Он стал капризничать, даже сам чувствовал это.

«Кто же виноват, что это со мной случилось? Война. На войну не обижаются. Но почему так глупо? Умирать всегда глупо! Разве я мог поступить иначе?» Нет. На этом месте он прерывал себя и не давал больше воли воспоминаниям. «Потом, как-нибудь потом. Сейчас не надо. Она так пронзительно кричала. Интересно хоть узнать, жива ли осталась. Может, зря всё. Но по-другому поступить невозможно – для всех одинаково, остальное подлость...»

Ли́ка понимала, как ему тяжело. Ей казалось даже, что чем больше этот человек отвоёвывает у болезни, тем труднее ему становится бороться с чем-то своим, скрытым, мучающим его. Она догадывалась, что помочь ему нельзя, старалась только хоть немного успокоить и не выдать своего волнения. Разве могла она, девчонка, подумать когда-нибудь, что её не испугают ни кровь, ни чужая боль, которая сильнее своей собственной, ни пытка чужим мучением, разве могла она, избалованная предвоенной жизнью, поверить, что так переменится и переборет себя. Она иногда задумывалась над этим в короткие часы отдыха и удивлялась, даже восхищалась собой.

Ей становилось стыдно, что всё же она эгоистка и думает опять о себе, о своём мелком самолюбии, когда вокруг такая жестокая война, но всё равно помимо её воли накатывало радостное, счастливое ощущение, что ты преодолел себя, что ты на самом главном своём месте. Теперь, после того как она вызвалась выхаживать этого «безнадёжного», с ней это случалось всё чаще и чаще. Ли́ка будто была благодарна ему за то, что раненый помог ей сделать последний шаг в преодолении себя.

Кончится война... Ли́ка старалась не думать об этом. Ей казалось, что кончится война, и то, что сейчас заполняет её жизнь, и те, кто заполняют её жизнь, – всё это уйдёт... Прежние друзья растеряны и семья... об этом она старалась не думать... Всё равно семьи больше не было.

Она была необыкновенно терпелива и нежна к раненым и тем более удивительно жестока к себе, но об этом никто не догадывался. Она запретила себе привязываться к людям, как будто можно запретить себе дышать. Она столько сердца вкладывала в каждого из них, этих окровавленных, часто павших духом, а часто озлобленных и наполненных лишь одним чувством бесконечного мщения, столько отдавала им, что боялась привязаться, чтобы не потерять потом совсем. Это была своеобразная защита, и может быть, Ли́ка была права.

У неё были маленькие ласковые руки. И неприступное сердце, как считали те, кто с ней работал, хорошенькая фигурка и милое лицо. Ли́ка не знала слово «любовь». Привязанность была для неё табу. Может быть, именно потому, что лётчик был «безнадёжным», возникла эта привязанность. Сначала она просто стремилась помочь ему вырваться, потом чуть ожить. Потом... она почувствовала, что ей не хватает его, и, не признаваясь себе в этом, – обрадовалась. В двадцать трудно быть одинокой. Трудно даже на третий год войны, отнявшей у тебя всё. Она не могла сказать Тимофееву то, что знала, – всю правду о нём. Лёнька чувствовал, догадывался, что ему не говорят всего, злился на Ли́ку: «Сказала бы, чёрт возьми!». Он злился на неё и тянулся к ней.

«Линия жизни» упёрлась в стену. Дни стали заметно короче. Лёнька чувствовал, что силы прибывают теперь значительно скорее, с каждым днём, с каждым часом. Он знал и свой приговор. Не от Лики. С ним «побеседовала» врач, может, главврач. «Контузия. Ранение в спину. Для вас война окончена. Лечиться и домой».

«Ей некогда. Для неё война не кончена. Я для неё один из десятков тысяч...» Даже та полуправда, которую он узнал, была страшной. Он не знал ещё того, что они, медики, знали: ему грозит неподвижность, и просто чудо, что ожили руки. Осколок сидел между позвонками. Стронуть его, попытаться вынуть – значит убить его. Не трогать – в лучшем случае частичный паралич.

Наступили тягостные дни. Дни, которые так хотелось бы проскочить побыстрее, как заградительный огонь. Сжать зубы и проскочить одним духом.

Лику долго не заходила после визита врача. Лёнька не звал её своим колокольчиком, «не собирал вече», он понимал, что ей тоже тяжело, «хотя кто я ей, и кто мне она?!». А... она, казалось, была похожа на Галю. Но Гали-то нет... Галя есть. Меня нет. Для неё тем более уже давно. А теперь меня ни для кого нет. Дышащий труп. Иждивенец...». Он изводил себя, словно был виноват в том, что с ним случилось.

«А может, и виноват? Может быть, надо было слушать маму и сидеть за пианино по шесть часов в день. И не лезть в небо. Тогда бы... тогда бы, может, была бы и жизнь другая. Галя была бы... или уж, по крайней мере, не лезть к начальству с рапортом чуть ли не каждую неделю. Сидел бы себе на месте и учил бы летать. У каждого терпение лопнет – много же я навоевал...» Он знал, что всё это говорит сам себе не всерьёз.

Однажды, когда ещё давно он возвращался с аэродрома, Галя ждала. Принесла два огромных яблока. Сели на комбинезон. За рекой уже было темно. Лёнька несколько раз пытался произнести что-то – невозможно, казалось, втиснуться в здешнюю тишину.

– Галя, мы всегда будем вместе, – он не смотрел на неё, но чувствовал каждое движение. Вот она повернула к нему лицо. Потрогала левой рукой волосы у виска, подняла брови, шевельнула его за плечо:

– Лёнь, а ты веришь, что быть лёгчиком – это твоё место в жизни? Может, мальчишечья мечта. Подрастёшь ещё – время пропустишь, а потом всё сначала?

Лёньку всегда раздражала в ней эта рассудительность: «потом, сначала...».

– Галя, а что лучше: искренно заблуждаться или расчётливо прозябать? – Лёнька взглянул и понял, что обидел её. – Не обижайся, я ведь любя... – слово сорвалось, и оба они застыли, глядя друг другу в глаза.

– Вместе, – одними губами сказала она.

– Вместе, – повторил Лёнька.

«Вот и не вместе. Или она так и останется со мной навсегда. Говорят же, что первая любовь на всю жизнь. Я не с ней, а она со мной... А вдруг и я с ней? Тогда глупо...»

Подтверждение пришло. И теперь он стал для них капитан Тимофеев, а не просто «свой», хотя у каждой нянечки, выдавшей всякое, но плакавшей, глядя на него, у каждой были свои там, откуда привезли его.

Он не солгал, и память его работала чётко. Они ему лгали, думали, что так лучше, берегли. Оставляли шанс. Бесконечно висеть над пропастью он не мог, даже если бы его законсервировали уколами, лекарствами в таком виде – он прорвал бы эту оболочку, прорвал бы силами, которые никакой науке пока не подвластны. Так тоненькие былинки дикого злака прорывают толщу асфальта, так вспучивают давящий их бетон нежные шампиньоны, так требует жизни человеческое тело, наперекор всем прогнозам и догадкам. Словно другие уцелевшие части его одалживают свою жизненную энергию пострадавшим, и вместе они лепят заново это гармоничное чудо – человека, человека... чтобы выполнить, достичь – ведь не зря столько мечтал, столько уже умел, столько не успел...

Ему ничего не говорили и не спрашивали его. Переложили на носилки.

Его отправляли в тыл. Он этого не знал, чувствовал, что с ним что-то должно произойти...

Она смотрела на него заплаканными глазами. Теперь не стеснялась его. Смотрела и тоже ничего не говорила. Хотела снять с себя и надеть ему цепочку, которую надела ей мама перед войной – единственную память, всё колебалась, переживала, да так и не решилась, засовестилась. Ох, это время, как оно теперь улетало. Минуты. Минуты...

Он написал ей: «Спасибо... Прощайте... ведь вы не скажете и на прощанье...».

Она читала и тихо плакала. Секунды. Секунды... Он снова потянулся за бумагой и написал: «линия жизни». И показал на трещину на потолке. Она подняла глаза, снова посмотрела на него и недоверчиво покачала головой...

А ему очень хотелось улыбнуться. Или заорать во всю глотку любимым марш из «Аиды», а ещё бы подбежать к пианино и, стоя, забарабанить так, как не велел Ёжик, зато от полноты сердца!

Он даже не знал, отчего это. Может, оттого, что он уже сильнее кого-то, сильнее недоверчивости, смерти? Вот этой девчонки? А может быть, оттого, что он куда-то едет, а ехать куда-то невозможно, если у тебя нет «завтра», и значит, у него появилось «завтра».

Он пожал ей руку. Краем глаза заметил, как колыхались её плечи. Потом увидел много-много людей в байковых халатах, и в белых, и в гимнастёрках – все смотрели на него.

В машине брезент был пробит пулями. Или ветки порвали его на лесной дороге...

«Ну, я встану, встану, я к вам ещё прилечу!» Он мыслил лихорадочно, как в воздухе перед встречей с противником. В момент невероятного напряжения – секунды, доли, микро-секунды. И приходит прекрасное короткое счастье: Победа! Как имя любимой. Короткое счастье, которое надо непрерывно повторять.

Он ехал! Ехал! Ехал! «И полечу! И встану!» Мальчишка жил в нём прочно! «Полечу!»

«А если выпишут долечиваться домой или дадут отпуск, спущусь по реке до конца. Ведь так ни разу и не сплавал, на лодке, как мечтал. Как мечтали... а интересно, она, наверное, тоже не сплавала. А ведь это Юрка придумал, Агафон. Он ещё потом дулся, что я Гале рассказал...»

Вообще путешествовать Лёнька не успел, а всегда мечтал. Ему никогда не надоедало смотреть на землю с высоты.

«Как сверху всё красиво и чисто. И пыльная дорога, на которой не прочихаешься, такая милая, жёлтенькая, и посёлки без единого дерева. Летом в них сгоришь, будто из лесу нельзя притащить три липы да две рябины...»

Когда ему удалось попасть на фронт, он удивлялся, что и война сверху не такая страшная. Это было в самом начале и потому, что ему не пришлось оставлять города с названиями, которые заучил ещё с детства на уроках в школе, потому что ему не довелось видеть реку – беженцев, потому что...

Он увидел войну другой: разрывы снарядов рядом, чужие крылья с чужим знаком, разрывы своих бомб, паника на шоссе, горящие машины, танки, оборванные строчки мостов, чёрные почерки немецких «мессеров», пустые койки не вернувшихся ребят, санитарные машины на поле, изрешечённые ИЛы, неизвестно как дотянувшие до дома. Он много раз видел смерть, много раз сам встречался с ней и успевал столкнуть её с дороги, много, много раз сумел предугадать, куда она повернёт, и прошивал ей крылья.

Он ни разу не видел в бою настоящего немца. Немца-врага, фашиста. Что можно заметить в воздухе сквозь два прозрачных колпака на коротком отрезке – секунда, может, две – на скорости сближения... «Если сложить эти скорости, когда проскакиваешь мимо, – это же выйдет больше тысячи километров! Страшно подумать».

Он видел пленных асов. Эсэсовской формы на них никогда не было. Люфтваффе. Он видел сожжённые дотла деревни и людей, чудом уцелевших, которым некуда было вернуться,

он видел города, которые носили ещё своё имя, но у которых в тот момент не было лица, он всё это видел.

«А всё же это пули, – решил Лёнька, – смотри-ка: из угла в угол почти, вроде как очередь, значит, с самолёта только!». И это он знал, что фашисты охотятся за «санитарками», даже за отдельными людьми. Он непрерывно думал. Когда не спал, думал.

Лёнька думал о жизни, о том, как легко её забрать у человека, как она непрочно в нём сидит, как она коротка и как необыкновенно велика, что может, мелькнув полусотней лет, остаться потом на века и тысячелетия и длиться вечно, пока будет живо человечество.

«Неужели все остальные живут только для того, чтобы созерцать это и подготавливать почву для вот этих некоторых? Ведь, наверное, каждый, если бы его поставить на своё, на его место, мог бы создать что-то необыкновенное или уж такое необходимое, что люди бы запомнили его навсегда. Надо только найти эту точку для каждого, а разве сам её найдёт всякий! Если бы человек жил лет двести, то, пожалуй, ещё можно было бы найти: перепробовал бы он тысячу дел и нашёл бы сам, какое из них по нему...»

Он улыбнулся мысленно: «Я всё мальчишка, не взрослею». Потрогал карман на груди – там лежало письмо от мамы.

«Вот бы её повидать. Нет, – испугался он, – только не сейчас! Ей нельзя меня видеть! Потом, потом...».

Поезд качало. «Вот бы в окошко поглядеть». Повернуться Лёнька не мог. Над ним белел потолок в метре с небольшим. Поезд был санитарный – это Лёнька знал точно: во-первых, в каком же ещё он мог ехать?! Во-вторых, пахло госпиталем, хорошо ещё, окна были приоткрыты.

Несколько раз к нему подходили, даже трясли за плечо, наверное, просили закурить или хотелось поболтать. Подходили сёстры. Он глотал что-то. Сколько они ехали, определить Лёнька не мог. Стояли и еле ползли. Тени и блики на потолке помогали ему определять меру движения.

Какая-то шальная радость, нахлынувшая было, улетучилась. Тягостное и неопределённое навалилось на него. Он снова был беспомощный и чужой, никому неведомый, и по правде: ненужный, для друзей потерянный, для войны выбитый, для кого же ещё? Только для матери он, конечно, оставался Лёничкой. Для матери. Она умела его провожать. Никогда не плакала. А вот встречать не умела. «Одна!»

Как ему хотелось сейчас окунуться в то далёкое мирное предвоенное время. Как было покойно и... «Нет! спокойно не было. В Испанию собирались удрать всей компанией. Малышев, по-моему, даже сухари заготовил! Это нас Филиппыч тогда накрыл, распекал-то не на шутку: „Мы не зря кровь проливали! Кому вы нужны, малограмотные вояки! Нам нужна крепкая Красная Армия! Офицеры свои, красные! А вы, вы же даже счисление для снаряда не можете сделать и тактику не ведаете!“».

Лёнька даже теперь почувствовал, как его снова бросило в жар от выплывших слов: «От занятий бежите!». Вот уж они возмутились, и не то что директор, никто не устоял бы перед ними. «Ладно, ладно, это я хватил, – миролюбиво отступил Пётр Филиппович. Он снял фуражку, вытер пот со лба. Все стояли понурившись. – Не для того кровь проливали!» – и всем сразу стало легче. Он говорил уже мягко.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.